

Альма Грей

Ночная тень



18+

Альма Грей

Ночная тень

«Автор»

2026

Грей А.

Ночная тень / А. Грей — «Автор», 2026

Она сбежала от боли. Она не знала, что убегает от любви. Старый дом на обрыве должен был стать убежищем. Тишина, море, отсутствие людей — всё, что нужно, чтобы забыть. Но в первую же ночь Лина Блэквуд понимает: она здесь не одна. Кто-то ходит по коридорам. Кто-то оставляет сухие цветы на подоконнике. Кто-то знает её имя и ждал восемь лет. Она не помнит его лица. Не помнит его имени. Но он помнит её. Он — забытая любовь, от которой она сбежала, чтобы не чувствовать боли. И теперь он вернулся. Не мстить. Не требовать. Он хочет только одного — чтобы она вспомнила. «Ты будешь помнить меня?» Ночная тень — роман-нуар о памяти, которая живёт в теле, о любви, которая не умирает, даже когда ты вычёркиваешь её из сознания.

© Грей А., 2026

© Автор, 2026

Альма Грей

Ночная тень

*Иногда мы забываем не потому, что
это неважно. А потому, что это слишком
важно, чтобы помнить.*

Пролог

Звонок раздался в семь утра.

Спала глубоко, тяжело — тем сном, который бывает только у тех, кто не ждёт плохих новостей. Телефон зазвонил на тумбочке — протянула руку, не открывая глаз. Экран светился холодным белым светом. Незнакомый номер.

— Алло?

— Лина Блэквуд? — Голос мужской, официальный, безжизненный. Как у человека, который говорит одно и то же каждый день. — Это полиция Грейвуда. Ваши родители попали в аварию.

Села на кровати. В комнате серо — солнце ещё не встало. Или уже встало, но не пробилось сквозь шторы.

— Что?

— Ваши родители, Джеймс и Элинора Блэквуд. Их машина вылетела с дороги на повороте у старой трассы. Они погибли на месте.

Не помню, что сказала дальше. Как положила трубку. Как оделась, как вышла из дома, как села в поезд до Силвер-Кова.

Помню только пустоту. Она пришла не после того, как узнала. Она пришла в тот момент, когда поняла: больше никогда не услышу мамин голос. Он не скажет: «Лина, милая, как дела?» Отец не обнимет и не спросит, как прошёл день.

Они ушли. И я осталась.

Поезд прибыл в Силвер-Ков в полдень. Вышла на платформу — пустую, залитую тусклым светом осеннего солнца. Город тихий, будто он тоже знал. Будто ждал, когда я приеду, чтобы сообщить: опоздала.

Прошла по главной улице, мимо закрытых магазинов, мимо старой церкви, мимо дома Итана. Не знала тогда, что он будет рядом. Не знала, что он будет присматривать за домом восемь лет. Не знала ничего.

Подошла к дому. Он стоял на обрыве — тёмный, молчаливый. Поднялась по ступенькам. Открыла дверь ключом, который лежал под ковриком — мама всегда оставляла его там.

Дом пуст.

Прошла на кухню. Чайник на плите — холодный. На столе записка. Мамин почерк. Взяла в руки.

«Лина, мы в город за подарками. Вернёмся к ужину. Я куплю тебе то платье, которое ты видела в витрине. Ты будешь самой красивой на выпускном.

Люблю тебя. Мама».

Сжала записку в руках. Не плакала. Смотрела на её почерк, на круглые буквы, на лёгкий наклон вправо — не могла поверить, что она больше не напишет ни слова.

Вышла на крыльцо. Села на ступеньки. Смотрела на море. Серое, тяжёлое, бесконечное. Волны набегали на берег и отступали — делали это всегда. Будут делать, когда меня не станет. Делали, когда уходили родители.

Просидела так до вечера. До темноты. До того момента, когда поняла: они не вернутся. Никогда.

На похороны не плакала. Стояла и смотрела на два гроба, на людей в чёрном, на цветы, пахнущие сыростью и увяданием. Слушала священника — что-то о вечной жизни и о том, что они ушли в лучший мир. Не верила.

Уехала через два дня. Закрыла дом, положила ключ под коврик — туда, где его всегда оставляла мама. Уехала в Грейвуд, чтобы начать новую жизнь. Чтобы забыть этот дом, это море, эту боль.

Не знала тогда, что дом будет ждать. Что он не умрёт, как умерли они. Что будет стоять и ждать, пока вернусь. Что будет хранить мои воспоминания, мои слёзы, мою любовь.

Не знала, что восемь лет спустя я вернусь, чтобы вспомнить всё, что забыла.

*Я не помню тебя. Но моё тело помнит
всё*

Глава 1. Та, что не помнит

Дорога кончилась за час до рассвета.

Машина остановилась на гравии — звук затих не сразу, а как-то по частям, будто гравий не хотел отпускать колёса. Сначала хруст, потом скрежет, потом только тишина, тяжелее любого звука. Мотор чихнул и умолк. В салоне стало тихо — так тихо, что собственное дыхание казалось чужим.

И тогда — море.

Оно было здесь всегда. Серебряная бухта, Силвер-Ков — часть детства, снов, воспоминаний, которые я так старательно заперла. Но я не помнила, какое оно — громкое. Не шумное — громкое как дыхание. Как чужое дыхание в комнате, где ты думала, что одна. Оно входило в машину через щель в двери, через неплотно закрытое стекло, через поры кожи. Солёное, тяжёлое. Пахло водорослями и холодом, и этим запахом было пропитано всё — воздух, одежда, волосы, руки, лежащие на руле.

Руки всё ещё сжимали руль. Ветровое стекло было мокрым — туман или мелкий дождь, я не различала.

В Силвер-Кове они всегда смешивались, будто небо и море решили, что им не нужны границы. За стеклом угадывался силуэт. Дом. Тёмный, высокий, с тремя рядами окон, которые смотрели на меня как глаза, давно закрытые, но всё ещё видящие.

Дом был другим. Светлым — когда солнце заливало фасад и белая краска слепила глаза. С запахом корицы по утрам — мама пекла булочки по субботам, и этот запах поднимался по лестнице, будил раньше будильника. С отцовским табаком по вечерам — он выходил на крыльцо с трубкой, дым смешивался с солёным воздухом, и от этого пахло домом. Настоящим. Тёплым. Защитой.

Мама выходила на крыльцо в старом халате, с мокрыми волосами, улыбалась. Смеялась, когда я пыталась помочь ей с цветами, а я только разбрызгивала воду и сбивала лепестки. «Ничего, дочка, всему своё время».

Отец учил меня водить на этой самой дороге. Мне шестнадцать, я боялась, а он говорил: «Бойся, но делай. Страх не должен тебя останавливать. Он должен идти рядом». Врезалась в дерево на первом же повороте. Он не ругался — смеялся: «Теперь ты знаешь, как не надо».

Этот дом был живым. А теперь он стоял передо мной — серый, молчаливый, с облупившейся краской на ставнях, с окнами, за которыми не было света восемь лет. Восемь лет, как я уехала. Восемь лет, как закрыла эту дверь и сказала себе: никогда не открою снова.

Цветы не росли. Только сорняки, пробивающиеся сквозь трещины в камне — будто дом пытался зарости собой, стереть себя из памяти земли. Кусты, которые мама любила поливать по вечерам, превратились в дикую поросль — колючую, высокую, почти человеческого роста. Они стояли вдоль дорожки как стражи, охраняющие дом от тех, кто хотел бы войти.

Я вошла.

Родители погибли здесь. Не в этом доме — в машине, на повороте у старой дороги, за два дня до моего восемнадцатилетия. Они возвращались из города с подарками. Мама хотела купить платье, которое я видела в витрине. «Ты будешь самой красивой на выпускном» — её последние слова. Я не помнила, как она выглядела в гробу. Только это: «Ты будешь самой красивой».

Они не доехали. Машина вылетела на мокрой дороге, врезалась в дерево. Мне сказали, они не мучились. Это должно было утешить. Но утешения не было — только пустота, зияющая внутри и не желающая заполняться.

Похороны. Продала всё, что могла. Уехала. Ни одной вещи из дома не взяла — ни фотографий, ни маминых украшений, ни отцовской трубки. Хотела, чтобы дом умер вместе с ними. Чтобы исчез из памяти, как будто его никогда не существовало. Как будто у меня не было детства. Как будто у меня не было родителей. Как будто у меня не было ничего.

Но дом не умер. Он стоял — восемь лет на этом обрыве, смотрел на море, ждал. Я не возвращалась. Жила в других городах, работала в других местах, знала других людей. Построила новую жизнь на пустом месте. Думала, это спасение. Думала, если буду достаточно далеко, прошлое перестанет существовать.

Прошлое не перестаёт. Оно ждёт. Терпеливее нас.

Теперь я стояла перед ним, и он смотрел на меня окнами, в которых восемь лет не горел свет, и я не знала, кто из нас больше похож на призрака.

Фары погасли. Темнота стала полной — не просто отсутствием света, а присутствием чего-то другого. Что-то занимало место света, как вода занимает место воздуха. Моргнула — темнота моргнула в ответ. Или показалось. Или море качнулось в такт дыханию. Или ветер шевельнул кусты у дорожки.

Из машины вышла — ноги затекли от долгой дороги. Восемь часов почти без остановок, почти без воды, почти без мыслей. Просто вела машину, смотрела на дорогу, старалась не смотреть в зеркало заднего вида — боялась увидеть то, что оставила позади.

Сумка была тяжёлой — только самое необходимое. Одежда, аптечка, документы, несколько книг, которые я не читала, и тетрадь, которую никогда не открывала. Купила её в придорожном магазине — она была синей, как море. «Может быть, начну писать. Может быть, поможет». Не знала, о чём смогу говорить — с собой, с этим домом, с этим морем.

Дверь — старая, дубовая, с облупившейся краской и ржавой ручкой. Ключ от парадной двери потерялся ещё при жизни родителей. Мы всегда пользовались чёрным ходом — удобнее, ближе к кухне, ближе к запаху корицы. Обогнула дом по мокрой траве, обходя кусты, цепляющиеся за джинсы. Остановилась у чёрного входа.

Ступени скрипели под ногами — каждая на свой лад, будто у дома был голос, и он говорил со мной на языке, который я почти забыла. Первая — короткий скрип, похожий на вздох. Вторая — долгий: «Я знал, что ты придёшь». Третья — почти молчание, лёгкое поскрипывание — будто дом улыбнулся.

Дверь поддалась не сразу. Ручка — холодная, и холод проходил сквозь кожу, сквозь мышцы, до кости. Повернула — дверь открылась с протяжным стоном, которого не должен издавать неживой предмет. Но дом был жив. Всегда знала это. Просто забыла, как он дышит.

Внутри холодно. Не как на улице — как внутри вещи, которую слишком долго не трогали. Дом остыл до самого центра и теперь медленно выдыхал этот холод в лицо. Воздух сырой,

тяжёлый, с запахом плесени и старого дерева, с едва уловимым привкусом воска. Или сухих цветов.

Стояла на пороге, ждала, пока глаза привыкнут к темноте. Они не привыкали. Темнота в этом доме была другой — не рассеивалась, не уступала, не становилась серой. Чёрная, густая, как патока.

Свеча. Спички отсырели — три потратила, чтобы зажечь одну. Пламя маленькое, нервное, дрожало на сквозняке, которого я не чувствовала. Но оно горело. Освещало кусок стены, край стола, мои собственные пальцы, сжатые вокруг коробка. Смотрела на большой палец, на его дрожь в свете свечи: «Это я. Моя рука. Я здесь. Я жива».

Шаг. Пол скрипнул под ногой — глубоко, протяжно, будто тоже дышал. Второй шаг. Третий. Кухня — тёмная, но свет свечи выхватывал из темноты отдельные предметы: край раковины, старый чайник на плите, кружку на столе. Только одну. Она стояла на блюде, одинокая и наглая в своей преднамеренности.

Кружка белая. С синим цветком на боку. Той же формы, что была у меня в Грейвуде, когда я работала в хосписе.

Я не помнила, чтобы привозила её сюда. Не помнила, чтобы покупала. Но она была здесь. И это было неправильно — как находить свою старую вещь в чужом доме. Как найти своё отражение в чужом зеркале. Как узнать голос, который никогда не слышала, но который говорит на твоём языке.

Не стала трогать. Просто смотрела, а она смотрела на меня своей белой поверхностью, и я знала: не покупала, не оставляла, не могла быть здесь в те годы, когда была в Грейвуде. И всё же она была здесь. Будто кто-то знал, что я приеду. Будто кто-то ждал.

Отошла от кухни. Прихожая — темнее, чем в кухне, потому что здесь не было окон. Старая вешалка в углу. Зеркало напротив. Не смотрела в зеркало — боялась увидеть там кого-то, кто не должен быть в этом доме.

На стене — старая фотография в потрескавшейся рамке. Подошла ближе, подняла свечу. Стекло пыльное, но лица видны. Мы. Мама, папа, я. Мне пятнадцать или шестнадцать. Улыбаюсь в объектив — широко, открыто, беззаботно. Мама обнимает за плечи — тепло чувствуется даже сейчас, через восемь лет, через стекло, через пыль. Папа стоит рядом, чуть сзади, смотрит не в камеру, а на нас. Всегда смотрел так — будто мы были самым важным в его жизни. Будто знал, что скоро уйдёт, и хотел запомнить каждую секунду.

Не помнила эту фотографию. Не помнила, чтобы она висела здесь. Но она была — и лица родителей смотрели из прошлого, которое я так старательно заперла. Хотела плакать. Не могла. Слез не было — только пустота, росшая внутри с каждым ударом сердца.

Отвернулась. Не могла смотреть. Не от боли — от того, что не чувствовала ничего. И это было хуже боли. Боль значит, ты жива. Боль значит, у тебя есть сердце, оно бьётся, чувствует. А я не чувствовала. Была пуста. Холодна, как этот дом, это море, эта ночь, не желающая заканчиваться.

Второй этаж. Лестница скрипела — но теперь скрип был иным. Не жалобным, не приветственным — предупреждающим. Дом говорил: «Не ходи туда. Ты не готова». Но я шла. Должна была увидеть свою комнату. Вспомнить себя — ту девочку, которая жила здесь и была счастлива.

Моя комната — в конце коридора. Третья дверь слева. Помнила её по выщерблине на косяке — сделала, когда мне было двенадцать, и мама смеялась: «Теперь он будет помнить тебя всегда». Дверь помнила. Выщерблина на месте — глубокая, неровная, с зазубренными краями. Провела пальцем по дереву — оно было гладким, отшлифованным годами и прикосновениями.

Дверь открылась.

Комната пуста. Кровать, стол, книги — всё исчезло. Только голые стены, серый дощатый пол и окно, выходящее на море. Ставни закрыты, но свет просачивался сквозь щели — серый, утренний, холодный.

Свеча — на подоконник. Огонь отразился в старом стекле — мокрым, запотевшем. Рука коснулась стекла — на ладони остался влажный след.

И тогда — заметила.

На подоконнике, рядом со свечой — цветок. Сухой. Лаванда — сломанный стебель, увядшие лепестки, почти превратившиеся в пыль. Он был старым — может быть, год, может быть, два, может быть, столько же, сколько я отсутствовала.

Не помню, чтобы сажала лаванду. Не помню, чтобы любила этот запах. Не помню, чтобы кто-то оставлял цветы на моём подоконнике.

Но он был здесь. Не я клала его туда.

Цветок в руках — хрупкий, лепестки осыпались на ладонь, как сухой песок. Поднесла к лицу, вдохнула. Запах слабый, почти неуловимый — но он был. Тот самый, который не могла вспомнить, но который чувствовала где-то глубоко внутри, в той части памяти, которую потеряла.

Вторая свеча. Третья. Когда зажгла их все, комната наполнилась светом — жёлтым, дрожащим, почти живым.

Свет обманывал. Делал стены тёплыми, тени — менее резкими. Говорил: «Здесь безопасно. Можешь лечь. Можешь закрыть глаза».

Легла на голый матрас — кто-то оставил его здесь, старый, пружинистый, с запахом пыли. Закрывает глаза. Не для того, чтобы спать — чтобы оказаться в темноте, которая была моей. Рукотворной, контролируемой, закрытой. Где я могла выбирать, что видеть, а что оставить за дверью.

Но за дверью я не могла выбирать. Дом не был пуст. Знание это было так же точно, как знание того, что море за окном дышит в такт с сердцем.

Шаги.

На лестнице. Той самой, по которой поднялась час назад. Медленные, ровные — как у человека, который знает, что спешить некуда. Каждая ступенька издавала свой звук — будто у дома снова был голос, и теперь он говорил не со мной, а с кем-то другим.

Свечи горели. Все до одной. Но за дверью было темно — темно настолько, что я не видела щели между полом и дверью. Будто кто-то стоял там, загораживая свет.

Шаги остановились.

Не дышала. Тело забыло, как это делается, когда кто-то стоит за дверью и ждёт, пока ты признаешь, что он здесь.

Он не постучал.

Выдох. Или скрип половицы под его ногой. Или море выдохнуло волну о берег в тот момент, когда он склонил голову и прижался лбом к двери — знала это так же точно, как знала, что у меня есть руки и ноги. Присутствие чувствовалось через дерево. Тёплое. Живое.

— Ты спишь? — голос тихий, почти шёпот. Не узнавала его — но он узнавал меня.

Молчала. Горло сжалось, язык стал тяжёлым, как камень.

— Знаю, что не спишь, — сказал он. — Ты никогда не спишь, когда я прихожу.

Горло сжалось сильнее. Пыталась вспомнить, где я слышала этот голос — в какой жизни, в какой комнате, в каком сне. Память была пуста. Как этот дом. Как этот город. Как этот день, который ещё не начался.

Я не знала его.

Но он знал меня.

— Ждал тебя, — сказал он. — Очень долго.

Голос тихий, почти нежный. Страшнее любого крика. Крик — угроза. Нежность — знание. Он знал меня. Он был здесь. Он ждал.

Минута. Его дыхание — медленное, ровное. Человек, который устал ждать, но готов ждать вечность. Потом шаг назад. Шаги начали удаляться — вниз по лестнице, по коридору, в темноту, которая ждала его так же, как он ждал меня.

Не спросила, кто он. Не сказала: «Останься». Не сказала: «Уйди».

Лежала и смотрела на свечи. Пламя качнулось — не от ветра, не от сквозняка. От того, что дверь открылась и закрылась. Хотя не слышала, чтобы она открывалась.

До утра лежала, глядя на свет свечей, догорающих одна за другой. Когда погасла последняя, в комнате стало серо — не светло, нет. Просто серо, будто ночь не хотела уступать место дню.

Встала. Вышла из комнаты, прошла по коридору, спустилась по лестнице. Открыла чёрную дверь, вышла на крыльцо.

Туман всё ещё стоял над морем — но тоньше, прозрачнее. Вода — серая, тяжёлая, с белыми барашками на гребнях волн. Небо — такое же серое, как вода, как дом, как моя душа.

На полу у моей двери — цветок. Сухой. Лаванда. Кто-то положил его на деревянные доски — аккуратно, почти как подношение.

Не помню, чтобы сажала лаванду. Не помню, чтобы любила этот запах.

Пальцы дрожали, когда я подняла его. Лепестки осыпались на ладонь — сжала их в кулак, чувствуя, как они крошатся, как пыльца остаётся на коже.

Дом пуст. Двери заперты. Никаких следов на мокрой гравии перед крыльцом.

Но в ладони — цветок, которого не могло быть. На коже — пыльца, пахнувшая чем-то далёким, забытым, важным.

Стояла в дверях особняка, смотрела на море, и вдруг поняла: здесь, в месте, где я чувствовала себя в безопасности — я никогда не была одна.

Кто-то был здесь всё это время. Кто-то ждал. Кто-то знал меня.

Не знала, кто он.

Знала только одно: прошлое, от которого я так долго бежала, настигло меня здесь. Оно стояло за дверью. Дышало в затылок. Говорило голосом, который я должна была помнить — но не помнила.

Вернулась в дом. Закрыла дверь. Заперла на засов.

Знала: это не остановит его.

Потому что он был уже внутри.

*Голос, который я не узнаю. Но он знает
мой имя*

Глава 2. Голос, который знает

Я не спала эту ночь.

Лежала на кровати, глядя в потолок, считала трещины на старой штукатурке. Их было семнадцать — одни тонкие, как паутина, другие глубокие, почти рассекающие потолок на части. Смотрела на них, и они казались картой местности, которую я когда-то знала, но забыла.

Свечи догорели к трём часам. Новые не зажгла — лежала в темноте, которая больше не казалась пустой. Она была полной — полной кем-то, кто ждал за дверью.

Он не вернулся.

Ждала его шагов, вслушивалась в скрип половиц, задерживала дыхание, чтобы уловить чужое дыхание. Лежала неподвижно, как зверь, притворяющийся мёртвым. Но дом молчал. Только море за окном дышало — тяжело и ровно, как спящий зверь, которому снятся волны.

Они бились о скалы внизу, и этот звук был единственным доказательством, что мир всё ещё существует.

Закрыла глаза — веки казались тяжёлыми, как свинец, сухими, как песок. Голова гудела от усталости, от напряжения, от того, что я не могла расслабиться ни на секунду. Мышцы болели — плечи, спина, шея, каждая клетка тела, забывшего, что такое отдых.

К утру поняла — не закрою глаза. Не от страха, хотя страх был. Боялась, что если закрою их, то открою уже не в своей комнате, а в другой, где он будет ждать. Что перестану контролировать пространство вокруг себя. Что если перестану контролировать — он войдёт. Знание это было так же точно, как знание того, что солнце встаёт на востоке, и как знание того, что родители никогда не вернуться.

Серый свет начал просачиваться сквозь занавески. Села на кровати. Тело болело — от бессонницы, от того, что лежала неподвижно восемь часов, как труп, забытый похоронить. Пошевелила пальцами ног — они были холодными и онемевшими. Сжала кулаки — ногти впились в ладони, и боль вернула в реальность.

Встала. Пол холодный — доски не прогревались даже днём, а утром они были ледяными. Прошла босиком к двери, открыла её, выглянула в коридор.

Коридор пуст. Серый, пыльный, с выцветшими обоями и старой, потрескавшейся краской на плинтусах. Солнце ещё не поднялось, но свет уже просачивался через окна в конце коридора — мутный, молочный, будто воздух был наполнен водой.

На полу у двери — ничего. Наклонилась, провела рукой по доскам. Пыль. Холод. Никаких следов. Ни цветка, ни лепестков, ни пыльцы. Будто ничего не было. Будто приснилось.

Но знала — это не сон. Запах лаванды на коже — слабый, почти неуловимый, но он был. Вьёлся в ладони, в пальцы, в запястье. Когда подносила руку к лицу, чувствовала его — тот самый запах, который не могла вспомнить, но который знала где-то глубоко внутри.

Пошла на кухню.

Дом днём выглядел иначе. Просто старый, обветшалый, с осыпающейся штукатуркой и запахом плесени. Без ночных теней казался почти безобидным — как старик, который не может причинить вред, потому что у него нет сил. Стены серые, но в них не было угрозы — только усталость. Только время, прошедшее, и следы, которые оно оставило.

Кухня встретила меня полумраком. Окна выходили на север, солнце сюда почти не заглядывало. Зажгла свечу — ту, что осталась на столе с прошлой ночи. Пламя качнулось, осветило край стола, кружку на блюде, чайник на плите.

Чайник — старый, эмалированный, с облупившейся краской. Мамин. Помнила, как он стоял на плите всё моё детство. Помнила, как мама всегда ставила его на правую переднюю конфорку — ту, что была чуть темнее других. Помнила, как наливала воду, ставила на огонь, ждала, пока засвистит. Стояла рядом, маленькая, смотрела на пар из носика, на воду, начинающую кипеть, на мамину улыбку.

Помнила это. Но не помнила, как выглядела её улыбка. Только ощущение — тепло от плиты, от её рук, когда она гладила меня по голове.

Налила воду. Поставила чайник на правую переднюю конфорку. Зажгла газ — пламя вспыхнуло с шипением, синим и жёлтым. Чайник зашипел, замолчал, начал гудеть — медленно, с нарастающей уверенностью, будто он тоже только что проснулся и пытался вспомнить, зачем он здесь.

Чай — в верхнем шкафу. Старая жестяная банка с надписью «Ассам» — мамин почерк, круглый и аккуратный, с лёгким наклоном вправо. Открыла её. Запах слабый — чай выдохся за восемь лет, превратился в сухую, почти безвкусную пыль. Но всё равно заварила. Хотела почувствовать что-то — вкус, запах, тепло, проникающее внутрь и согревающее.

Рядом с чайником, почти невидимый в полумраке — старый плеер. Наушники. Диск в пластиковом футляре.

Диск без обложки. Только белый круг с надписью маркером: «для Лины».

Не помнила его.

Смотрела на диск, и в голове было пусто. Не помнила, чтобы оставляла здесь музыку. Не помнила, чтобы кто-то записывал для меня диски. Не помнила этот почерк — мужской, небрежный, с вытянутыми буквами, как у человека, который привык писать быстро, потому что мысли опережали руки.

Взяла диск. Лёгкий, почти невесомый. Провела пальцем по краю футляра — пластик гладкий, без царапин, будто куплен вчера. Но это не могло быть вчера. Дом стоял пустым восемь лет. Никто не входил — или я так думала.

Положила диск обратно.

Взяла снова.

Поставила на кухонный стол.

Не хотела знать, что там. Хотела выбросить его, забыть, сделать вид, что не видела. Но не могла. Что-то во мне — тот же голос, что говорил вчера? — шептало: «Открой. Послушай. Это для тебя».

Чайник засвистел. Пронзительно, будто он тоже хотел, чтобы я обратила внимание. Выключила газ, налила воду в чашку, заварила чай. Старый, выдохшийся, почти безвкусный. Но горячий. Согревал ладони, и я держала чашку, как держатся за последнюю надежду.

Плеер старый, но работал. Батарейки сели, но не до конца. Нажала на кнопку — зелёный индикатор замигал слабо, как светлячок в конце лета. Диск закрутился — и я услышала первый трек. Тихий. Гитара. Одна струна, потом вторая, потом голос, который я не узнавала.

Не знала этой песни.

Но что-то в ней — первый аккорд, пауза, тихий выдох перед началом — заставило замереть.

Стояла у плиты, с чашкой в руке, слушала.

Голос — мужской, молодой, чуть хриловатый, с лёгкой вибрацией на последних нотах. Он пел о том, как просыпаешься ночью и понимаешь, что кто-то смотрит на тебя. Как боишься обернуться. Как надеешься, что это сон.

*Ты спишь, а я смотрю —
в темноте твое дыханье,
я не смею шевельнуться,
боюсь спугнуть мгновенье,
боюсь, что ты откроешь глаз —
и я исчезну, как туман,
как ночь, которая не ждёт,
когда наступит утро.*

Не знала песню. Не знала голос. Но слова были знакомыми. Будто уже слышала их — в другой жизни, в другой комнате, от другого голоса.

Стояла неподвижно, пока песня не кончилась. Наступила тишина — несколько секунд, потом следующий трек. Тот же голос, та же гитара, другие слова. О том, как человек ждёт у двери, но не стучит. О том, как он знает, что она не спит. О том, как он боится, что она скажет «уйди».

Слушала. Не могла остановиться.

Диск — десять, двенадцать, может быть, больше песен. Все о том, что я не могла вспомнить. О том, что кто-то ждал меня. О том, что кто-то знал меня до того, как я стала той, кем стала. О том, что кто-то любил меня, а я ушла.

Когда последняя песня кончилась, чашка в руках остыла.

Поставила её на стол. Сняла наушники. Уши гудели от тишины, наступившей после музыки. Стояла посреди кухни, смотрела на диск, на плеер, на кружку, и чувствовала, что голова пуста — но не той пустотой, которую носила в себе восемь лет. Другой. Будто в ней было место для чего-то, что я забыла, но что теперь пыталось вернуться.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.